

* * *

Останешься зимой на даче, точно в трюме,
опустишься на дно. Очнёшься занесён,
заснежен, отделён от жизни, полоумен,
подышишь на стекло оконное сквозь сон —
там мир уже другой. Стоит Бестужев-Рюмин,
забыв, что он казнён.

Марлинский у куста, как мраморный, искрится.
Впустить бы. Изо льда как будто стали лица —
собратья декабря и вечной мерзлоты.
Об идеалах тех, о силе оппозиций
подумать, перенять бы опыт, закалиться.
Но не романтик ты.

* * *

Колонны-сосны держат лёгкий потолок,
лес дышит глубоко, вбирая жадно солнце.
К проплешинам песчаным белый мох
сухими иглами приколот где придётся.

Вся в блёстках слюдяных летает стрекоза.
Ей этот танец в прошлой жизни показали.
Когда-то, точно так, в просторной бальной зале —
прелестница, шалунья, егоза —
кружилась девочка с огромными глазами.

* * *

Я не любила бабушку по отцу —
тихоню, похожую на овцу,
она и косички мне не умела толком
с утра заплести,
стоило в школу прийти —
лента съезжала, соскакивала заколка.

Мать не дружила с ней, и отец ругал
за стряпню неумелую, за развал.
Помню купленный с нею крестик,
тайный обряд с батюшкой на дому,
прощенье дарованное потому.
«Настенька, выход есть ли?» —

спрашивала, надевая шарф,
выйти пыталась, дверь открывая в шкаф,
свихиваясь постепенно.
Нынче смиренно образ её храню,
россыпь веснушек, медлительности броню,
это во мне нетленно.

* * *

Легко течёт небесная река.
Приданое Офелии бесплодной
плывёт, изображая облака,
на высоте глубоководной.

Прозрачные раскинув рукава,
плывёт ночная тонкая рубашка.
И кажется, что девушка права,
божественно сойдя с ума, бедняжка.

А за рубашкой пеняшь, пузырясь —
нетронутое свадебное платье,
определяя будущую связь
и вечные незримые объятья.

О, не смотреть бы вверх, закрыть глаза,
когда венок, на облако похожий,
проточные пропустят небеса,
пока есть что-то, что любви дороже.

* * *

В неудобном советском кресле,
вырастающем на глазах,
со спинкой такой высокой, что
не удивительно, исчезли б если
её очертания в облаках,
превращая комнату в фантом,

отец сидит, закинув ногу на ногу, ловко
газетой «Правда» закрываясь от дураков,
прокручивая в голове
конструкцию самонаведения ракетной головки.
Он не слышит моих шагов.
А я иду к нему по сухой траве —

девочка, постаревшая так внезапно,
несу дневник первоклашки, храня
очередную тайну и список потерь.
«Я не оправдала твоих надежд, папа, —
говорю, — ты прости меня,
ты прости меня хоть теперь».

* * *

Бабка Наталья трудится: ей не лень
кофту заштопать, супчик сварганить. К свету,
к лету повернут, вновь прибывая, день.
Солнечный зайчик прыгает по паркету.
Бегать устав, отстав от хозяйки, тень
в тёмном углу просматривает газету.

Держится сердце за милосердный быт.
И разбухает, как дрожжевое тесто,
воздух на кухне, пряным теплом омыт.
Да и не ради цели, скорей — процесса,
сладкий пирог печётся и суп кипит.
Смерть отступает, не находя здесь места.

* * *

Когда так сидишь отрешённо, я не пытаюсь лезть:
вижу, что не со мной ты сейчас, не здесь —
там, где, проснувшись с утра на веранде, витраж горячий
лбом ощутив, не отыщет никак под кроватью кед,
второй натянув, к реке улизнуть нороящий шкет.
Хотя после смерти родителей продали дачу.

«Чай остывает, — я говорю, — доедай мармелад, нугу».
Скажешь: «Ау». Ветер доносит с лугов заливных «уту».

Это настоящее заканчивается, как мармелад,
а прошлое тянется бесконечно. Выходишь в сад,
удивляясь, что всё на месте осталось вроде.
На подгнившем опадыше сливы, словно не умирал,
красно-чёрный божественный «адмирал»
пьёт нектар золотистый и усиками поводит.

* * *

Не о смерти простой, как правда,
а о ниточке пульса, связывающей ещё
с нежной горечью августа — надо,
о тополе, дышащем горячо
в алых углях заката.

Не о том, как боялось тело,
отдавая тепло последнее твоей руке,
а о том, что сказать бы хотела
душа, уходящая налегке
в звёздный сад беспредела.

Не о правде, убившей снова,
а о вымысле жизни, выношенном в пустоте,
о рождении звука сквозного,
о лете, которое просвистел
в жадном поиске слова.